

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ



## НЕ ЗАБЫВАЙ ЯЛТУ!

РАССКАЗ

Василий Комаров\* на войне командовал взводом. Летом он получил ранение под Мариуполем, а лечиться его отправили в Крым. Врачи велели ему ходить, чтобы разрабатывать больную ногу, и он подолгу гулял по Ялте. В этот сырой осенний день Комаров шёл по горбатой выщербленной дороге из Ялты в Аутку. Слева, словно обрываясь из-под его ног, уходили вниз разномастные кровли, между которыми недружелюбно поблёскивало алюминиевое море, справа того же цвета небо подпирала отвесная гора, служившая как бы стеной дороги.

Туман стущался. Внизу, наконец, Комаров увидел подходящий по описанию дом — цель своего сегодняшнего путешествия. Здесь когда-то жил знаменитый писатель. Так вышло, что Комаров до тридцати лет не прочитал всерьёз ни одной его вещи, кроме коротких рассказов. Когда он был студентом, то прозу этого писателя молодёжь считала занудной и устаревшей. Потом пошла такая жизнь, что стало вообще не до чтения. А в симферопольском госпитале Комаров нашёл в тумбочке оставленную прежним хозяином потрёпанную книгу писателя “Повести и рассказы” и прочитал от корки и до корки. Эти повести и рассказы обладали бесценным качеством старой доброй

---

\* Большинство героев рассказа носят подлинные фамилии и имена прототипов. — Прим. авт.

---

*ВОРОНЦОВ Андрей Венедиктович родился в 1961 году в Подмоскowie. Доцент Литературного института им. А. М. Горького, секретарь Правления Союза писателей России. Все годы “незалежности” Украины активно выступал в печати за возвращение Крыма в состав России, с 2001 года постоянно живёт летом в крымском Симеизе. В 2014 году стал одним из учредителей Крымской региональной организации Союза писателей России, избран её сопредседателем.*

прозы — помогали, когда трудно. Не то чтобы они пробуждали надежды и звали неведомо куда, напротив, с тихим мужеством говорили, что жизнь человека — это страдание. Счастье в ней так мимолётно, так редко. Оно гость в этой жизни, а не постоялец. Постоялец — это страдание. Всё, всё, что происходит с этой когда-то огромной страной, — тоже страдание. Огромный театр, а в нём — бесконечная драма. Вот-вот, казалось бы, наступит очищение, катарсис. Шли годы — не наступало.

Комаров смотрел сверху на окутанный туманом белый двухэтажный особняк с башенкой. Неясно, как в полусне, вспоминалось недавно прочитанное: "...мелькали внизу огни... казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть... им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то... они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз всё-таки надо..."

— Всё-таки надо, — повторил вслух Комаров. Где-то там, на северо-востоке, в степях Приазовья, шла война, на которую ему предстояло вернуться. Комаров был добровольцем, но в победу уже не верил. Если бы весной или хотя бы в августе... После ранения он почувствовал какое-то безразличие к происходящему. На больничной койке у него появилось время, чтобы поразмышлять над своей жизнью. Всё чаще он приходил к выводу, что он никакой не солдат, и на этой войне вполне могли бы обойтись и без него. Быстро смеркалось. Комаров, хромая, пошёл назад.

Когда он вернулся в центр города, уже совсем стемнело. Дом, в котором Комаров снял комнату, был у самого моря. Окна во втором этаже померанцево светились. Он открыл дверь выданным хозяйкой ключом, вошёл в прихожую. Когда он зажгёт свет, из таинственной глубины зеркала напротив на него посмотрело длинное утомлённое лицо с сильно обозначившимися под глазами. Комаров недовольно отвёл глаза, пригладил волосы. На лестнице показалась хозяйка. Они поздоровались.

— Будете пить чай? — улыбаясь, спросила она.

— Не откажусь.

Поднялись в гостиную. Комаров отвык от общения с женщинами и смущался, ловя на себе её взгляд. Анна Лаврентьевна несколько лет назад потеряла мужа, но была ещё довольно свежей и милой женщиной. Они сидели друг против друга за круглым столом и пили заваренный хозяйкой чай. Анна Лаврентьевна спрашивала Комарова про войну, он скупо отвечал, потому что всерьёз ничего вспоминать не хотелось, а в шутку было вспомнить нечего. Тогда она поведала ему о покойном муже; он внимательно слушал, но впоследствии обнаружил, что в памяти об её муже не осталось почти ничего.

Потом замолчали. *Тихий Ангел пролетел.* Чай был допит, следовало, вероятно, откланяться. Но Комаров отчего-то всё сидел, считая чашки на дне чашки. Он немного разговорился, и оставаться одному не хотелось.

— Вы странный человек, Василий Матвеевич, — ласково сказала Анна Лаврентьевна. — Внешне похожи на военного, а по характеру — нет. Военный человек готов ответить на все вопросы жизни, не задумываясь, правильно или неправильно. А вы как бы всем своим видом говорите: может быть, так, а может, этак.

— Что ж, — пожал плечами Комаров, — не буду скрывать, Анна Лаврентьевна, я не знаю ответов ни на один вопрос жизни.

— Так ли? — засмеялась она. — А как же вы живёте?

— Так и живу.

— Ну, на войне-то, наверное, вы знаете, что делать?

— Наверное. Поэтому-то я на войне.

— А страшно убивать людей? — неожиданно спросила она.

Комаров поднял глаза от пустой чашки. Анна Лаврентьевна сидела, удобно откинувшись на спинку стула, округлые колени едва проступали под мягкой материей платья.

— Первый раз убить человека страшно, ежели ты с ним лицом к лицу, — наконец ответил он, растягивая слова, как на экзамене. — Но вообще это не самое страшное на войне. Страшно, когда тебя убивают. — Он под-

нялся. — Вы знаете, в обществе такой приятной женщины, как вы, как-то не хочется об убийствах. Спасибо за чай.

Комаров спустился к себе, разулся, лёг на диван. Он знал, что уснуть долго не удастся. Смежив веки, глядел на проплывающих под ними прозрачных амёб. Густой туман, белый, как молоко... скрывает бездонную пропасть... в числе бесконечного ряда жизней... его... этой женщины с круглыми коленями... Колени вдруг приблизились, и он положил на них голову. В точно таком же положении Комаров проснулся три дня спустя вечером. В темноте он видел над собой лицо Анны Лаврентьевны, влажный блеск её глаз. Она склонилась над ним, гладкие груди коснулись его лица. Мимолётное это прикосновение оставило ощущение радости. Так, словно вспоминаешь о ней... Он прижался небритой щекой к её животу. Анна прерывисто вздохнула. Тикали часы. Море одышливо било в набережную. Сквозь зашторенные окна веером проникал, скользя по полу, зелёный свет маяка с оконечности мола.

— Знаешь, — сказала Анна, — а ведь с мужем у меня не было так... ты понимаешь? Я даже тяготилась нашими отношениями. Хотя по-своему и любила его.

— А разве после мужа ты ни с кем не встречалась?

— Встречалась... Да всё как-то не так. Как-то просто. Точно по необходимости. Да и кому сейчас до любви? Встретились — и разошлись.

— А что значит — просто? Одинокие постояльцы вроде меня?

Анна усмехнулась.

— Может быть, ты и не знаешь ответов на вопросы жизни, но сам, как всякий военный, задаёшь прямые вопросы. Слишком прямые.

Комаров поморщился.

— Прости, Аня. Как-то очерствел душой, незаметно. Дело уже не в войне. Просто жизнь стала, как бездна в тумане. Это один писатель сказал. И куда ни пойдёшь — всё вроде бы стоишь на краю пропасти. Назад пути нет, а впереди туман, бездна.

— Зачем ты так? Мир не бездна, в нём люди живут. И у тебя, наверное, есть кто-то, родные, близкие... любимая.

— Никого у меня нет. Я уже и забыл, когда с людьми по-человечески разговаривал, ну, вот как теперь с тобой.

— Ну, и говори, Васенька, говори.

Он засмеялся, провёл пальцем по её ключице.

— А разве тебе интересно?

Она не ответила, поцеловала его в глаза. Он приподнялся, сел рядом, обнял её за плечи. Проектор на мгновение осветил их загорелые плечи, блестящие лодыжки Анны Лаврентьевны и бледную грудь Комарова.

Назавтра выдался прекрасный, солнечный день. Туман испарился, воздух подох и остекленел. Южный ветерок промыл его. Море из алюминиевого сделалось сиреневым, тёплым на вид. Оно, может быть, и вправду было тёплым: по нему прыгали, как детские мячи, головы купальщиков. Одурающе пахли кипарисы. Анна Лаврентьевна и Комаров шли по набережной. Комаров кормил чаек, бросая им куски булки.

— Отвратительные птицы, — говорил он, шурясь на солнце. — Раньше, когда я не видел их, то, как и многие, полагал, что в них есть что-то поэтическое. Ничего подобного. Во всяком случае, вблизи. Они вечно что-то клюют на помойках своими длинными развратными клювами. “Чайка” у Чехова — страшное название. Читателю с “большой земли” это не понять.

— Ты говоришь, как крымские рыбаки. Они называют чаек летающими свиньями, а дельфинов — плавающими свиньями. А, по-моему, чайки — красивые птицы. Такой излом крыльев...

— Ещё немного, и ты убедишь меня, что эта подсиненная лужа — Понт Эвксинский — тоже красива.

— Ты шутишь? Я никогда не поверю, что кому-то может не нравиться Чёрное море.

— Нравится, нравится! Только для северянина немного конфетно. Прямые линии Балтики, адмиралтейская игла, шлем Исаакия, ростральные ко-

лонны — вот наша красота. Дух Петра Великого. “Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия”. Военный корабль так же уместен на Балтике, как заколка в твоих волосах. А посмотри на этот сторожевик: смотришься, как задник декорации в оперетте. Уж балтийцы не дали бы дважды утопить свой флот.

— На севере холодно, — она передёрнула плечами. — А я не люблю холода. Где холод, там и смерть. И мне не нравятся прямые линии.

Море искрилось лучами, как будто в нём плавали зеркала. Воздух подёрнулся ленточками шашлычного дыма. Из гостиницы “Россия” высыпали на набережную и мол по-летнему одетые мужчины и женщины. Были даже иностранцы с фотоаппаратами. Комаров и сам чувствовал себя иностранцем. Казалось, с того момента, когда он стоял над плавающим в тумане домом писателя, прошло лет девяносто. Неужели где-то есть война? Зачем?

В открытом кафе на набережной они заказали вина. Комаров пил много, чтобы подольше ощущать себя не слишком обременённым заботами путешественником. Анна курила, отставив блестящий локоть. Была она сегодня удивительно хороша. Жаркая ночь с короткими перерывами на сон, без остатка вымотавшая Комарова, казалось, лишь освежила её. Подошёл уличный фотограф, предложил снимок на память. Анна отрицательно покачала головой.

— Отчего же ты не хочешь, Аня? — удивился Комаров. — Что плохого, если у меня на войне, как и у моих товарищей, будет в бумажнике фотография, которой я могу похвастаться? Вот моя любимая женщина. Наступит мир, обязательно поеду к ней.

— Я всё не пойму, когда ты шутишь, а когда говоришь серьёзно. В нашей семье было принято считать, что фотографироваться на память — дурная примета.

— И оттого у тебя дома нет никаких фотографий?

— Может быть. Мы однажды вот так снялись с мужем, а потом его не стало. А я ведь его тоже просила не сниматься.

— По этой логике все эти здоровые и упитанные люди вокруг никогда не должны были фотографироваться. Аня, что ты придумываешь? Я хочу иметь наше фото. Давай-ка я подсяду к тебе. Снимайте, маэстро. Прямо за столиком. На фоне пальмы. Привет из солнечного Крыма!

Анна пожалала плечами, отпила вина. Маэстро установил треногу, навёл на них сверкнувшую в лучах солнца оптику объектива.

— Бликует, как снайперский прицел. На войне, если блеснёт вдаль такая штука, то сейчас же надо падать на землю, а то прилетит птичка, — острил оживлённый вином Комаров.

— Птичка? — шепелявя, переспросил лысый маэстро. — Мозет быть, зелаеае снятсеа с попугаема? — Большой какаду, косивший на них круглым глазом, сидел у него на плече, как у пирата.

— У вашего попугая наверняка блохи, — заявила Анна Лаврентьевна. — С ним я точно не буду сниматься.

— Цо вы такое говорите за блох? — возмутился фотограф. — Никогда у него их не было! Это благородная птица! Я за ней ухаживаю! Впрочем, как знаете. Мое дело — предложить.

— Аня, ты хмуришься? — спросил Комаров, когда маэстро удалился. — Ты чем-то недовольна? Это всё мои дурацкие шутки?

Анна покачала головой. Солнце горело на белой поверхности стола, подсвечивало снизу смуглую руку Анны, и она стала почти прозрачной, переплетённой в глубине, в нежной тени лучевой кости, сетью тоненьких голубых жилок. Глаза её блуждали далеко.

— Скажи, — спросила она, по-прежнему не глядя на Комарова, — кто-нибудь знает, что ты здесь... у меня?

— Нет, я никому не говорил.

— А у кого ты узнал, что можно у меня остановиться?

— Ни у кого. Я погулял по набережной и постучался в первый попавшийся дом. А почему ты спрашиваешь?

Она не ответила. Лицо её показалось ему вдруг усталым. В театральном саду заиграл оркестр. Набережная постепенно пустела. Комаров допил вино, оглянулся — не заказать ли ещё?

— Вася, — сказала, наконец, Анна, — ты бы мог не возвращаться... в эту свою часть?

Комаров вздрогнул. Некоторое время назад, шутя о фотографии в бумажнике, он поймал себя на мысли, что думает о войне как о чём-то таком, что уже не имеет к нему никакого отношения.

— Что ты, Аня? — проговорил он, сам уже не глядя ей в глаза. — Как это — не возвращаться? А что обо мне люди подумают? Я ж командир взвода, присягу принимал.

— Я в этом мало что понимаю... — медленно сказала она. — В присяге особенно. Сейчас каждой новой власти присягают. В Крыму есть офицеры, которые присягали по пять раз. Но ты ведь доброволец, не так ли? Волен прийти, волен уйти?

— Это было бы слишком просто, — усмехнулся он. — Война такая штука, что человек волен на неё прийти, но не совсем волен уйти.

— Но ведь она скоро может кончиться? И тогда твой уход будет означать не то, о чём ты думаешь сейчас.

— А что он будет означать?

— Ну, то, что война кончилась, и надо начинать новую жизнь.

— А ты убеждена, что она скоро кончится?

— Так говорят.

— Да? Но только почему-то не на фронте. Хорошо, допустим, я дезертировал. И как мне после этого людям в глаза глядеть?

— Каким людям? Никто же не узнает.

— Ты не поняла. Здесь много людей с войны — лечатся, отдыхают. Я их по глазам узнаю.

— Но ведь это не твои знакомые?

— Какая разница? Могут встретиться и мои. Ты пойми...

— Я понимаю. Всякий мужчина стоит перед выбором: женщина или война... женщина или мужская дружба... женщина или карьера... женщина или водка... Но выбирает всё-таки что-то одно. Между своей жизнью и чужой. Я предлагаю тебе выбрать свою. А потом: зачем тебе здесь с кем-то встречаться? Поживёшь до заключения мира у меня, без нужды не выходя на улицу. Ведь и вправду все говорят о мирных переговорах. Главное — решиться, поверь. А выход обязательно найдётся.

— Аня, а ты представляешь, что будет, если все уедут с войны? Мы что — на неё пошли просто так, пострелять? Ты знаешь, что эти сволочи творили в Киеве, в Одессе, в Мариуполе?

— Все знают. Это страшно. Но ведь война в любом случае кончится. Те, кому посчастливилось выжить, разойдутся в разные стороны и снова будут каждый за себя. Я вот увидела тебя в первый раз — меня даже в сердце что-то толкнуло. Такой ты был одинокий. Разве ты был кому-нибудь нужен, кроме меня?

— Как человек — едва ли.

— Ну, вот, зачем же тебе беспокоиться о других? У них своя жизнь, свои представления о долге. Ты свой выполнил, был близок к смерти. Тебя могло уже не быть! Война на исходе. Если ты счастлив сейчас со мной, то там тебя обязательно убьют. Таков подлый закон жизни.

— Станный у нас выходит разговор, — заметил Комаров. — Ты же любила меня воином, а не дезертиром! Но теперь хочешь, чтобы я стал дезертиром. Это так называемая женская логика?

— Я знаю одно, — с мрачной уверенностью тихо сказала Анна. — Если ты вернёшься на войну, тебя точно убьют. Так говорит мне сердце. А сердце меня редко обманывает.

Они замолчали. Скулы у Анны Лаврентьевны зарозовелись. Комаров прислушался к себе и чувствовал некоторое недоумение: тема разговора оставила его равнодушным. На глазах у Анны показались слёзы. Комаров пожал её локоть.

— Не обижайся, Аня. Я не могу тебе сейчас ответить. Может быть... потом.

Он подошел официанта, расплатился. Давешняя лёгкость исчезла. Море раздражало. Они бесцельно пошли вверх по улице, не глядя друг на друга. Через некоторое время в просвете домов выросла нарядная церковь Александра Невского, стилизованная под суздальский период. Говорили, что её посещали когда-то члены императорской фамилии.

— Зайдём? — предложила вдруг Анна.

Комаров безразлично кивнул, хотя что-то внутри него противилось этому, какая-то тяжесть на сердце. Они вошли. В храме было не протолкнуться. Служили вечером. Паникадило не горело, только жарко потрескивали в сумраке свечи. Дышать было нечем. Анна исчезла. Комаров поискал её глазами и нашёл у образа Богородицы, со свечкой в руке. Он чувствовал себя всё хуже. В сознании проплывали обрывки фраз, неведомо зачем отпечатавшихся в памяти: "...из кадила струился синеватый дымок... И столько грехов уже было наворочено в прошлом, столько грехов, так всё невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания... Струйки дыма, похожие на кудри ребёнка, кружатся, несутся вверх к окну... В числе бесконечного ряда жизней..." Огоньки свечей и лампад поплыли куда-то в сторону, вытянулись тонкими лучами. Комаров ощущал, что глаза его влажны, но это были словно чужие глаза. "Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну, и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков..." Анна появилась за спиной, тронула его за локоть. Они вышли из храма.

Комаров так и не вернулся в свою часть. Он отпустил бороду, выходил из дома Анны Лаврентьевны только в сумерках. Дни тянулись однообразные, длинные. Однако Комаров не скучал. К нему пришёл великий покой, оцепенение. Днём он лежал на диване, глядел в полудрёме, как текла его прошлая жизнь, неспешная, словно мутная река. Анна уходила на службу в Ялтинский морской порт, приносила новости. Точнее, никаких особых новостей ни о войне, ни о мирной жизни не было. Менялись лишь слухи. Рубль с каждым днём всё больше обесценивался, но к этому люди уже привыкли. А ночью они лежали на супружеской кровати Анны и её покойного мужа, вольно переплетаясь телами, как осьминоги щупальцами, и подолгу скрипели боковинами под Анины стоны, стучали спинкой о стену — размеренно вначале и всё нетерпеливей к концу, под зелёные вспышки маячного огня, сменявшиеся вспышками оргазма. Этот настойчивый стук не остался без ответа: однажды Анна призналась, что беременна. Она говорила, что счастлива, потому что ей ни разу не удалось понести за все годы жизни с мужем. Комаров не знал, счастлив ли он. Он испытал нечто похожее на счастье тогда, в первый раз, когда лежал головой на коленях у Анны, и её груди мягко коснулись его лица. Теперь же он ощущал лишь великий покой. Великим покоем была и Анна, её рассудительность, тёплые плечи, тяжёлые гладкие груди, нежный живот, лоно, сильные руки. Комаров дремал.

Он очнулся лишь спустя полтора месяца после их знакомства. Анна была, как всегда, на службе. Комаров вышел подышать свежим воздухом, купить папирос. Обычно перед этим, чтобы не встретить знакомых, он выжидал у окна за шторой момент, когда улица опустеет. Но сейчас не пришлось ждать: ни одного прохожего он не увидел. Комаров скользил по улице, как тень, держась стен домов. Со стороны пристани доносился какой-то шум. Вдруг из-за угла вышел на Комарова человек, похожий на него самого: шляпа, надвинутая на глаза, чёрное пальто, клочковатая борода. Увидев Комарова, он остановился и взял его за рукав.

— Вы слышали? — свистящим шёпотом сказал он. — Они уже в Крыму, прорвали фронт.

В голове у Комарова раздался дребезжащий звон, точно в треснувшем колоколе. Он очнулся. Улица показалась ему бесконечной.

— Как? — пролепетал он. — А как же укрепления?

— Укрепления! — горько усмехнулся незнакомец. — Они прошли гнилым морем. Говорят, вот-вот возьмут Джанкой или уже взяли. Через несколько дней будут здесь. Спешите попасть на пароход.

Незнакомец исчез, будто растворился в воздухе, а Комаров всё стоял на углу под колочим северо-восточным ветром. Прошли гнилым морем? Что это? Значит, за то время, что он дремал днём, а ночью делал Ане ребёнка, сдали Приазовье и Северную Таврию? Гнилым морем, в этакую-то пору?.. Ведь на Перекопе, должно быть, уже настоящая зима. Что заставило красных лезть в ледяную воду? Комаров даже не представлял, смог ли бы его взвод выполнить такой приказ. Он вспомнил портрет Троцкого в захваченной штабной теплушке красных: нечеловеческие глаза за стеклышками пенсне, стоящая точком борода. И ещё агитационный плакат “А ТЫ записался добровольцем?”, где в виде красноармейца, тычущего в тебя корявым перстом, тоже, по-видимому, был изображён Троцкий. А ты? А ты поселился у одинокой ялтинской женщины в потайной комнатке, вход в которую перекрыт высоким шкафом с раздвижной задней стенкой из фанеры. Откуда и зачем у Анны такой тайник, Комаров почему-то не спрашивал. Он входил в эту свою келью через дверцы шкафа, отодвигая в сторону плечики с платьями Анны Лаврентьевны и пиджаками её покойного мужа, словно герой авантюрного романа, — только его не ждали здесь ни ящики с сокровищами, ни лаборатория ядов. Диван, столик, лампа, графин с водой, узкое окошечко наверху для вентиляции, судно для нужды — всё, что требуется джентльмену. А когда возвращалась домой Анна, он вылезал из своего зашкафья, чтобы после короткого ужина дождаться, когда она придёт к нему в постель нагая, обнимет, прижавшись всем телом, как жена, и они, слившись в одно гибкое существо с четырьмя руками и ногами, будут доламывать кровать под её прерывистые стоны. А утром — рраз! — и снова в шкаф. Такие вот командиры взводов в Белой армии. Понятное дело, их не заставишь лезть в гнилое море, и они сами никого не сумеют заставить это сделать.

Комаров поплёлся по бесконечной улице. “Красуйся, град Петров, и стой, непоколебимо, как Россия...” Ясный погожий день стоял перед глазами, войсковой смотр в Феодосии перед высадкой десанта в Приазовье. Вдоль строя блестящих на солнце штыков ехал на породистом жеребце курносый Слащов. Сиял золотом его широкие генеральские погоны, в складках ослепительно белой венгерки таилась прохлада. Бился по ветру полковой флаг, пели высокие трубы. “Здорово, ребята!” “Здрав-ав-ав ваше-ство!” — закричала соседняя рота. В числе бесконечного ряда жизней. Теперь уже не бесконечного. И не жизней. Ряда мёртвых русских землепашцев, лежащих в поганных солончаках. Его братьев, что стояли с ним в Феодосии плечом к плечу. “Рады стараться, ваше-ство!” Нужно ехать на фронт. На фронт? А где он теперь, фронт? Везде. *Везде*, где найдёт тебя разъярённая контрразведка и поставит к стенке. Или красные особы. Но кому от этого будет легче? Ане? Неродившемуся ребёнку? Мёртвым землепашцам? “Так всё невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении...”

Комаров стоял перед нарядной церковью Александра Невского. “Ты бы мог не возвращаться... в эту свою часть?” — “А присяга?” Он хрипло засмеялся и пошёл назад. Спрятался, укрылся от лавины попоной. “Струйки дыма, похожие на кудри ребёнка... И столько грехов уже наворочено в прошлом... Но он просил о прощении и даже всхлипнул громко...” Не скрываясь, он вошёл в дом. В передней его встретила Анна.

— Собирайся, Аня, — сказал он. — Красные прорвали фронт.

Ресницы у Анны дрогнули. Она прислонилась к лестнице.

— Вот и прекрасно. Зачем же собираться?

— Как это — зачем? Ты хочешь остаться?

— А почему нет?

Комаров засмеялся.

— Аня, я понимаю, что вас в вашей курортной Ялте всю войну не очень беспокоили. А тем временем в пятидесяти верстах отсюда, в Севастополе, матросня жгла живьём в корабельных топках офицеров. Теперь и здесь так будет, слишком много буржуев понаехало с материка. Нас уничтожают как

класс, не пулей, так измором. Мой отец умер от голода, мать с сестрой — от сыпняка. А сколько ещё таких!

— Я знаю. И, тем не менее, это шанс.

— Какой шанс?

— Выжить. Допустим, мы пойдём сейчас в порт, купим билеты. Я, наверное, смогу это устроить. Но тебя могут узнать ещё на пароходе. Не на пароходе, так где-нибудь в Константинополе или Варне. Но обязательно рано или поздно узнают. Ты хочешь уехать, чтобы увезти туда эту жизнь с оглядкой? Я специально не рассказывала тебе о положении на фронте. Неужели ты не понимаешь, что красные теперь — наша единственная надежда? Отсюда уедут те, кто знал, что ты белый офицер. Ты станешь студентом, скрывающимся от врангелевской мобилизации. С прогрессивными убеждениями. Ты можешь служить в каком-нибудь их культпросвете или наркомпросе. И получать паёк. Они тоже не могут без интеллигенции. Их вожди сами интеллигенты, понимают это. Их цель не уничтожить нас, а заставить служить себе. Так отчего бы не послужить? Разве ты не мечтал никогда служить народу?

— Аня, очнись! Какому народу? Десять миллионов дезертиров ушли с фронта с оружием в руках и три года терроризируют страну! А мне прикажешь им служить? Ты что, Чернышевского на ночь читалась? Не будет тебе алюминиевых дворцов и даже дома этого не будет! Здесь разместят штаб этого самого культпросвета. А тебя босой пустят на все четыре стороны. Вслед за недоучившимся студентом сомнительных прогрессивных убеждений.

— Выгнать не выгонят, а подселить каких-нибудь комиссаров могут, — рассудительно сказала Анна. — Да если и выгонят, беда небольшая. В Ялте мы не пропадём, я знаю здесь многих хороших людей. Но главное, Вася, мы будем вместе. И ребёночек, понимаешь?

Комаров смотрел на Анну Лаврентьевну, как на диковинную рыбку за стеклом аквариума. Она раскраснелась, прядки выбились из высокой причёски. Только рука, сжимающая перила, была белая-белая.

— Ты бы видела истерзанные трупы, которые откопали во дворе киевской чрезвычайки, когда мы заняли город! Ты что, думаешь, они остановятся, войдя во вкус террора? Нет! Вот они одну проблему решили расстрелом, другую, третью. Это развращает. Ведь ничего не надо, только патронов побольше. И захочешь без расстрелов, да не сможешь! Кончат резать контру, начнут стрелять своих Мирабо и Дантонов. А где лес рубят, там щепки летят. Сказать тебе, кто эти щепки? Или сама догадаешься?

— Не знаю... — она отвернулась. — Уезжай, если хочешь. Мне незачем, все равно я там останусь одна. Уж лучше здесь.

Комаров не ответил. Что он мог ответить? Глаза будущего были пусты. Он стоял на пороге и мял шляпу в руках. Назад пути нет, а впереди туман, бездна. Из непритворённой двери сквозило ветром. “Культпросвет, культпросвет”, — бессмысленно повторял он про себя. Анна не двигалась. Плечи её поникли.

— Ладно, попробуем, — сказал Комаров. — Что нам ещё остается?

И он прошёл мимо неё в комнату, где стоял шкаф, открыл дверцу.

Через несколько дней в кабинете исполняющего обязанности начальника ялтинской ЧК Буревого заверещал телефон. Он взял тяжёлую трубку. Звонил дежурный из караулки.

— Товариш Бурэвий! Тут до вас який-то жид прыйшов з пытаннем. Призвыще — Панафидин. — В трубке послышался протестующий голос, видимо, упомянутого Панафидина. — Чого? А-а... Вибачьте: вин кажэ, шо не жид, а пиндос. З особыстым пытаннем до вас.

— Ты что? — гаркнул Буревого. — Сгною за антисемитизм! Что это за слово — жид? Какой ещё пиндос? С каким таким особенным пытаньем? Педераст, что ли? — не без опасения осведомился он.

— Та ни. Шо ж я, нэ знаю, шо такэ пидорас? Цэ чоловик, якого замисть жинкы выкорыстують. А цэ — грэк. Грэков в нас так клычуть — пиндосамы. А пытанья — цэ по-нашэму вопрос. Звычайно, товариш Бурэвий, можэ, вин и пидорас, алэ ж я нэ бачыв, колы його...



— Заткнись! Я из тебя выблю великорусский шовинизм!

— Шо вы?! — испугался словоохотливый караульный. — Шо вы? Сказылыся? Який вэлькоруський жопынизм? Я ж хохол! Мы, товариш Бурэвий, нэ кацапы...

— Ладно, ладно! Впусти. Как устал я от этих махновцев!.. — вздохнул Буревой, опуская трубку. — Все у них жида, пиндосы, кацапы... “Выбачьте”... “пытання”... “жопынизм”... Тьфу! Дикие люди! А ты изволь, делай с ними мировую революцию...

Вскоре, деликатно постучав, в кабинет бочком вошёл “пиндос” — пожилой маленький грек в чёрном пальто с траченным молью воротником. Ещё от порога начал он кланяться. Буревой насмешливо за ним наблюдал.

— Ну, что ты кланяешься, как Петрушка? — спросил он. — Я тебе что — частный пристав? Выкладывай, с чем пришёл, или убирайся. Нет у меня времени со всякими клоунами разговаривать. Мне здесь надо с контрреволюцией бороться, а не на твой цирк смотреть.

— Так вот, гразданин товариш нацяльник, посмотрите, будьте ласковы, сию карточку. — Он протянул чекисту какую-то фотографию.

Тот взглянул на нее, потом быстро на грека, потом снова на фотографию. На открытом челе Буревой появилась вертикальная складка.

— Та-ак, — наконец сказал он. — Ты зачем это снимал?

— Я во всякий час и во всякое время снимаю, гразданин комиссар, когда клиенты просят, ибо имею многих деток, коих надо кормить. И господина офицера с мадам Касьяновой снял, есё в октябре, при Врангеле. Эта мадам Касьянова тогда сказала, цо у моего попугая блохи. Гнусная лозь! Он теперь умер, бедолага, но не от блох, а оттого, цо корма не стало... — На глаза Панафидина навернулись слёзы. — Ему ведь не всякий корм полезен...

— Да нузели? — передразнил его Буревой. — Ты ещё расплачься! Здесь скоро люди начнут от голода пухнуть, а он жалуется, что корма для попугая нет! Врангель-то ваш весь хлебушек вывез на французских судах! И корм, наверное, тоже — для французских попугаев. Ты давай ближе к делу, Панафигин или как тебя там.

— Панафидин, господин товариш нацяльник. — Грек вздохнул и продолжил: — Ну, вот-ц. Запечатлел, стало быть, я эту парочку, а за фотокардиями никто не присол. А вцера иду по улице и визу, как этот господин заходит в дом к гразданке Касьяновой. И по сторонам так есё оглядывается. Я его сразу узнал, хотя на нём, извините, ни кокарды, ни погон, как на этой фотокардии, а, напротив, всё цивильное да есё борода. Только редкая, всё равно узнать можно. Я заинтриговался и встал от дома тоцно наискосок, цтобы меня из окна не увидели, наблюдаю. Мне это просто: поставил аппарат и стою, будто клиентов озыдаю. Мозет, думаю, на минутоцку засол господин бывсый офицер, по делу какому? Только до ноци, гразданин нацяльник, из дому никто не выходил. А дальсе я узе не стал здать, замерз. А потом ресыл на всякий случай принести црезвычайной канцелярии карточки и негатив.

— Та-ак, — двигал скульптурными желваками Буревой. — Что же, Паррафидин, послужил мировому пролетариату. Избавляешься от мелкобуржуазных иллюзий. Молодец. Давай сюда свой пропуск.

— Я, гразданин нацяльник, хотел бы есё насцёт ателье узнать...

— Ладно, — махнул рукой Буревой, — сымай пока. До освоения пролетариатом фотографической техники в полном объёме. А там мы вас к ногтю, мелких собственников.

— Хорошо бы бумазецку какую, гразданин комиссар, а то ведь без бумазки как?

— Вот привязался! — Буревой взял лист бумаги, черкнул на нём несколько слов, расписался и бросил через стол Панафидину. — Зайди в канцелярию и поставь печать. Давай пропуск. Никому ни слова, понял?

— Понял, как не понять, гразданин нацяльник, не извольте беспокоитьсь! Могила! Премного, премного вам благодарен! — Грек пятился к двери с бумажкой, кланяясь, как и давеча, точно его появление показали в кино, а теперь открывали плёнку назад.

Проводив его мрачным взглядом, Буревой взялся за рукоятку телефона, спросил в трубку:

— Товарищ Папанин уже приехал из Севастополя? Ага. Пригласи его ко мне. — И стал вертеть “козью ножку”, не спуская глаз со снимка.

Через несколько минут в кабинет вошёл вразвалку крепко сбитый усатый матрос с красными от недосыпа глазами, в бескозырке с надписью “Катерный причаль”. От обычного матроса-черноморца его отличала хрустящая новенькая кожаная куртка на плечах и командирский маузер в лакированной кобуре. Буревой пожал Папанину руку.

— Садись, Иван. У меня вопрос насчёт Касьяновой. Скажи мне, с кем она сейчас работает?

— По агентурной линии — ни с кем. Мы её сейчас привлекаем к опознаниям, она здесь много офицерья и пособников знает.

— А вот этого она опознала? — Буревой перебрал Папанину фотографию. — Или это твой человек?

Матрос некоторое время изучал карточку.

— Нет, не видел такого. Надо проверить, конечно. Контриков в одной Ялте сотни, всех не упомнишь. Но что не мой — точно.

— А он, между прочим, живёт у неё, по имеющимся у нас сведениям.

— Как?

— А так! Ты вот что, Иван. Подготовь-ка к вечеру из своих людей оперативную группу на задержание. А пока установи наблюдение за её домом, пусть “хвосты” за всеми, кто оттуда вышел.

— Ясно, — задумчиво кивнул Папанин.

Буревой откинулся на спинку стула. Самокрутка погасла, но он забыл о ней.

— Эх, Аня, Анюта... — сквозь зубы сказал он. — В двойные игры играешь? Или полюбился тебе офицерик? Вот мы и поставим вас рядышком к стенке, а комендантский взвод вас сфотографирует. На вечную память.

Он снова взял фотографию. На него посмотрела большеглазая миловидная женщина в лёгком холстинковом декольтированном платье. Округлое лицо в тени шляпки, точёные смуглые плечи. В обнаженной по локоть полноватой руке дымится длинная папироса. Рядом развалился на плетёном стуле безусый офицер с нервным лицом. Лихо заломленный картуз с кокардой, выгоревший на солнце френч, мятые прапорщичьи погоны. В правом углу наискосок бежала кокетливая надпись с завитушками: “Не забывай Ялту. 1920-й год”.